

# Смотритель. Книга 1. Орден желтого флага

**Автор:**

Виктор Пелевин

Смотритель. Книга 1. Орден желтого флага

Виктор Олегович Пелевин

Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин

Император Павел Первый, великий алхимик и месмерист, не был убит заговорщиками – переворот был спектаклем, позволившим ему незаметно покинуть Петербург. Павел Алхимик отбыл в новый мир, созданный гением Франца-Антоня Месмера, – Идиллиум. Павел стал его первым Смотрителем. Уже третье столетие Идиллиум скрывается в тени нашего мира, взаимодействуя с ним по особым законам. Охранять Идиллиум – дело Смотрителей, коих сменилось уже немало. Каждый новый должен узнать тайну Идиллиума и понять, кто такой он сам...

О чем эта книга на самом деле, будет зависеть от читателя – и его выбора.

Виктор Пелевин

Смотритель. Книга 1. Орден желтого флага

© В. О. Пелевин, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

\* \* \*

Что счастье?

Довольно, что не трушу,  
влача свое ничто через нигде,  
покуда черти чертят эту душу,  
подобно быстрым вилам на воде.

Из монастырской поэзии[1 - Приписывается Никколо Первому. По другой версии, написано Павлом Алхимиком – и изменено Никколо Первым под влиянием декадентов: в утерянном павловском оригинале якобы было “влача свой крест Мальтийский в темноте, // где Троица сию рисует душу, // подобно быстрым вилам на воде”. В пользу этой гипотезы говорит то, что в Ветхой России времен Павла действительно распространены были вилы с тремя зубцами. Против этой версии – некоторая амбивалентность термина «Троица» в устах Павла Алхимика.]

Предисловие

Я долго размышлял, имею ли я право писать о себе прежнем в первом лице. Наверно, нет. Но в таком случае этого не имеет права делать никто вообще.

В сущности, любое соединение местоимения «я» с глаголом прошедшего времени («я сделал», «я подумал») содержит метафизический, да и просто физический подлог. Даже когда человек рассказывает о случившемся минуту назад, оно произошло не с ним – перед нами уже другой поток вибраций, находящийся в ином пространстве.

Поэтому мудрые утверждают, что человек не может открыть рта, не солгав (я вернусь еще к этой теме). Меняется только количество неправды.

Когда человек говорит: «Вчера я выпил, и теперь у меня болит голова», это приемлемая ложь, хотя между вчерашним свежим кавалером и сегодняшним похмельным страдальцем часто не остается даже визуального сходства.

Когда же человек заявляет, например: «Десять лет назад я занял тысячу глуксов на покупку уже сгоревшего к настоящему моменту дома», эта фраза вообще не имеет никакого смысла, кроме судебного – во всех прочих отношениях былой заемщик и сгоревший дом уже ничем не отличаются друг от друга.

Я собираюсь рассказать о себе молодом – и правильнее было бы, конечно, писать про «Алексиса» (мое официальное имя) или хотя бы про «Алекса» (это значит «беззаконник» на смеси греческого с латынью, шутил мой куратор Галилео).

Но именовать героя, которого по-настоящему знаешь изнутри, словом «он» – это литературщина чистой воды: повествование теряет достоверность и начинает казаться выдумкой самому рассказчику.

Поэтому я решился писать от первого лица. Но прошу помнить, что герой молод и наивен. Иные из мыслей я мог приписать ему ретроспективно.

«Я» в таком случае – нечто вроде телескопа, сквозь который я нынешний гляжу на пляшущего в пространстве моей памяти человечка, а человечек глядит на меня...

Я почтительно посвящаю свой труд памяти Павла Великого, императора-алхимика, не узнанного на Ветхой Земле – и оставившего ее ради лучшей доли. В самое начало я помещаю отрывок из тайного дневника Павла – пусть он послужит вводным очерком к моему повествованию и избавит от нужды давать исторические справки.

Алексис II де Кижэ,

Смотритель Идиллиума

I

Латинский дневник Павла Алхимика,

ч. 1 (ПСС, XIV, 102–112, перевод)

1782

De Docta Ignorantia

Веселый брат Фридрих (вернее было бы называть его дядюшкой, но масонство не предполагает таких обращений) пишет, что путешествие по Европе, предпринимаемое мною под именем графа Северного, могло бы войти в его учебник военной хитрости. Фридрих, верно, замыслил этот труд, когда маршал Геморрой обошел его с тыла, отрезав от последних греческих радостей.

Но на деле моя задача не так сложна, как он думает – венценосные лицемеры Европы так заморожены собственным хитроумием, что обмануть их не представляет труда и простецу (коим я, вслед за Николаем из Кузы, искренне полагаю себя самого).

Иллюминаты, самое зловредное и вероломное из нынешних европейских течений, достойны места в учебнике Фридриха куда больше. Их тактика отменна – они маскируются под масонов, проникают в их ложи и постепенно выедают их изнутри; так, говорят, поступают некоторые паразиты насекомых, откладывая свои яйца в еще живых гусениц. Увы, иллюминаты далеки от настоящей Работы – на уме у них лишь власть и деньги. Поэтому не зазорно поступить с ними так, как сами они поступают с гусеницей масонства.

Через неделю в Вене меня примут в иллюминаты. Ложа будет думать, что заполучила в свои ряды будущего императора России – с ее огромной территорией и армией. Я же превращу иллюминатов в тайный рычаг Братства. И этим рычагом мы вскоре перевернем всю землю. Нашим Архимедом будет брат Франц-Антон, а точку опоры ему дам я. Результаты опытов столь обнадеживающи, что сомнений в удаче нет.

Вот вкратце моя сегодняшняя “Мудрость Простеца”.

1783 (1)

Aurora Borealis

Я полагал, брату Францу-Антону уже ничем не удастся удивить меня. Но увиденное в Париже поразило меня до сокровеннейших глубин души. Природа его открытия такова, что наши прежние планы, несмотря на их величие, кажутся теперь ничтожными. Возможно совсем иное – и грандиозное. Все превосходные степени человеческих языков бессильны его даже коснуться.

Брат Франц-Антон колеблется – он говорит, что наша власть над Флюидом недостаточна. Как ни странно, мой самый близкий единомышленник в Братстве, сразу принявший мой план, – это брат Бенджамин.

Возможно, дикие и безрадостные просторы Америки (Бенджамин выполняет в Париже обязанность американского посланника) приводят ум в бесстрашное состояние, свойственное и русским, не слишком ценящим свою жизнь. А наседающее со всех сторон дикарство заставляет наших антиподов задуматься о побеге точно так же, как это делаем под гнетом своей утонченности мы, европейцы.

Брат Бенджамин весьма колоритен. Здесь шутят над его меховой шапкой, а он заморожен Версалем и Трианоном. Думаю, из него получился бы неплохой король Америки – или хотя бы, как здесь острили, Le Duc des Antipodes[2 - Герцог де Антипод (фр.)]. Великолепная парочка – Le Comte du Nord et le Duc des Antipodes.

Брат Франц-Антон здесь в большой моде. Кроме высшей аристократии и короля, посвященных в тайну, у него много последователей среди простолюдинов. Те понимают под словом mesmerisme нечто дикое – знахарство вроде практикуемого в глухих российских углах сельскими колдунами.

Это смешно, но и мудро, ибо в тайну уже посвящено столько людей, что скрыть ее полностью было бы невозможно. Лучше спрятать ее под ложным пониманием, коим люди нашего века столь радостно пропитывают свои мозги.

У брата Франца-Антона можно поучиться не только искусству власти над Флюидом, но и этой широко распахнутой во все стороны скрытности. Поступим же по его примеру – скроем горошину истины в озере лжи.

Новая ложа, основанная нами, будет называться “Всемирная Аврора”. Она будет всячески пропагандировать лжеучение, распространенное в народе под именем mesmerisme. Подлинное же искусство управления Флюидом будет доступно лишь скрытому внутри этой ложи ордену, который мы назовем *Auroga Borealis*. Свет сей Авроры увидят только избранные. Пусть истинная заря восходит под покровами ложной, отчасти разделяя с ней имя.

А если и этого недостаточно, чтобы скрыть Тайну, есть средство верное и окончательное, при одной мысли о котором мне делается весело: мы уже приняли к себе Калиостро, и за короткое время он наделает своими тестикулами столько пустого звону, что истину позабудут даже те, кому она случайно открылась.

1783 (2)

Среди современных ученых считается хорошим тоном отрицать, что дух может действовать на материю – это как бы выводит их из юрисдикции Римского Папы.

Один такой умник из числа братьев говорил сегодня Францу-Антону на собрании логи, что методами науки можно наблюдать лишь то, как один материальный предмет влияет на другой – все же прочее есть просто акт веры. Франц-Антон изрядно рассмешил собравшихся, задав ему такой вопрос:

“Вам, друг мой, случается ли захотеть выпить вина – или выглянуть в окно?”

“Да”, ответил ученый, “бывает”.

“И ваша рука тянется к бутылке или к шпингалету, не так ли?”

“Именно так”, ответил ученый, “и я понимаю, что вы скажете дальше, почтенный брат мой, – но это лишь действие сугубо материальных причин, таких как жажда и духота, на мышцы моего тела.”

“Тогда”, сказал Франц-Антон, “рассмотрите следующий казус: какой-нибудь Карл Пятый решает, что его честь задета, и на следующий день сотысячная армия с пушками, весящими много тысяч фунтов, переходит границу. При этом лошади, тянущие за собой пушки, обильно покрывают навозом все окрестные дороги... Разве тут не случай воздействия духа на материю?”

Ученый молчал.

“Я специально упоминаю навоз”, продолжал Франц-Антон, “потому что заметил – при диспутах со жрецами материи именно эта субстанция отчего-то действует на их воображение самым непобедимым образом...”

Когда мы остались в кругу посвященных в высшую тайну, Франц-Антон, как бы вслед этому анекдоту, сказал несколько слов о природе Флюида. Запишу, пока помню дословно.

“Между материей и духом лежит отчетливая и непроходимая пропасть, которую признают мыслители всех веков. Так же отчетлива и несомненна их связь. Раньше я думал, что Флюид – именно то, что связывает материю с духом. Теперь же я полагаю Флюид тем, из чего возникают и материя, и дух. И по этой самой причине он может служить между ними мостом. Устремлять разум далее не следует – сохраняйте почтительное неведение насчет остального... Chute,

monsieurs, chute...”

1783 (3)

Не все иллюминаты находятся под нашим контролем – есть и такие, что пытаются нам помешать. Невероятно, но они полагают, будто этого требует их долг перед Верховным Существом (под ним они обыкновенно понимают Бафомета). Они пытались убить Франца-Антон: к нему подослали итальянца-бретера, считающегося великим фехтовальщиком.

Как легкомысленно со стороны Франца-Антон было принять вызов! Но бретер назвал его *ciarlatano* – редкое итальянское ругательство, с которым Франц-Антон, по несчастью, знаком. Вчера еще он смеялся над Карлом Пятым – а сегодня увидел в случившемся *point d'honneur*. И таков разумнейший из людей, мне известных! Споткнуться на великом пути о собственную выдумку...

Еще глупее вышло остальное. Дуэль была тайной, но я смог на ней присутствовать. Бретер был настроен решительно – я понял это, перекинувшись с ним парой слов. По лицу Франца-Антон было ясно, что он собирается играть благородного кавалера до конца и будет, вероятно, убит.

Следовало сделать выбор, и я его сделал: не успели они начать, как я парализовал фехтовальщика силами Флюида – и так удачно пережал ему мышцы, что бедняга, не успев сделать ни одного толкового выпада, свалился на шпагу Франца-Антон. К счастью, тот держал ее под нужным углом.

Франц-Антон ничего не заподозрил – дуэли для него в новинку, и он был слишком взволнован видом крови. А вот фехтовальщик понял все. Когда я склонился над ним, он прохрипел:

«Не знаю, какую силой вы погубили меня, сударь – но теперь я спущусь на дно ада, чтобы овладеть ею. А потом вернусь и отомщу!»

На моей совести его жизнь. Никогда не забуду глаза бедняги. Он был жестоким убийцей – но заслужил умереть от удара шпаги. Впрочем, формально он от него и скончался.



Говорят, когда человек гибнет, охваченный жадой мести, дух его и вправду может доставить серьезные неприятности. Но главное, Франц-Антон жив. И считает теперь себя героем-дуэлянтом. Как любит повторять он сам – *monsieurs, chute!*

Понимаю королей, запрещающих поединки под страхом суровой кары. Поистине, иной раз жалко, что мы не в России. Пороть, только пороть.

1784

Великая Работа близится к завершению. Даже не верится, как много сделано – иногда, просыпаясь, я думаю, что все это лишь привидевшийся мне сон. Но стоит провести в лаборатории час или два, и уверенность в успехе возвращается.

От брата Франца-Антоня прибыла новая Шляпа Могущества, спрятанная в черную треуголку. Открытая металлическая конструкция удобнее и легче, но эту можно носить, не вызывая любопытства. Связь с медиумами устойчива и не зависит от огромного расстояния между нами.

Флюид дает несомненную власть над неодушевленной материей – и власть эта такова, что велика даже для императора. Но как вдохнуть в вещество душу? Как и чем оживим мы новый мир?

Здесь нужны ежедневные опыты; нельзя тратить ни минуты на пустые досуги – лучше прослыть самодуром-затворником, чем упустить великую цель.

Брат Бенджамин сообщает: иллюминаты под его началом готовят в Париже великую смуту. Это будет, пишет он, не просто бунт черни, а первая в своем роде революция, неудержимый вихрь цветов и красок, как бы огромный обогранный кровью карнавал, к которому немедленно примкнут все праздные умы, полагающие себя свободными в силу своей развращенности.

Жестокое, но разумное решение: те, кто знают тайну, но не последуют за нами, умрут. Брат Луи, не принявший нашего плана, – увы, тоже. Это позволит нам быстро и без помех завершить начатое и скрыть следы.

Не сомневаюсь, что задуманная смута удастся. Подготовка потребует несколько лет; первое время брат Бенджамин будет руководить всем лично, пресекая несогласие грозными манифестациями Флюида.

Надеюсь, что Высшее Существо простит нас, ибо великое дело требует великих жертв.

Увы, мы не были кротки, как голуби.

Сможем ли овладеть мудростью Змея?

(записи 1785–1801 считаются утраченными)

1801, март

Следы моих занятий в лаборатории уничтожены; петербургский заговор, с которым любезно помог английский посланник, готов. Великому Магистру никто не смеет перечить в его маленьких странностях. Киж знает, что ему предстоит – но верит мне полностью. Слово императора что-то еще значит.

Все нужные мне вещи – таблицы модусов Флюида и несколько манускриптов – поместились в один походный сундучок. Остальное изготовим на месте.

В одной из комнат Михайловского замка я сделал из Флюида подобие двери, позволяющей проходить в мою удаленную лабораторию в Идиллиуме. Комната в замке и лаборатория совершенно совпадают по форме; сев на стул в одном месте, я могу встать с такого же в другом. Благодаря этому мои опыты не прерываются. Никто не может последовать за мной. Как только я закрываю невидимый проход, он исчезает.

Что подумают об этой комнате, когда войдут сюда? Ее, верно, примут за место для тайных свиданий – или за пыточную камеру (чтобы дать пищу пытливым умам, я бросил на полу сахарные щипцы и плетку). Так странно видеть приют моих бессонных ночей пустым... Оказывается, здесь куда больше места, чем мне казалось.

Киж третьи сутки спит на походной кровати в моей спальне. Двери отперты, караул распущен. Киж говорит, что ему совсем не страшно – но дело, должно быть, в опиумной настойке, к которой у него прорезался изрядный вкус. Я выполню данное ему обещание.

Пьяные заговорщики пусть тешат себя мыслью, что убили магистра Мальтийского Ордена. На деле я мог бы заколоть их простой зубочисткой прежде, чем они успели бы испугаться, – но какая мне радость произвести впечатление на нескольких дышащих луком офицеров, не умеющих даже соблюсти свою присягу? Пусть судит их Верховное Существо.

Моя же награда в том, чтобы пройти по земле незаметно – как поступали мудрые во все времена. Непросто сделать это, родившись в горностаевой шкуре. Но я, кажется, смог.

Здесь императором был я. В Идиллиуме им станет каждый.

II

Фельдъегерь в красной камилавке склонил красивое лицо к окошку самоходной кареты и сказал:

– Дорога до станции не так уж далека, сударь. Дам вам совет – начинайте покаяние прямо сейчас. Тогда нам не придется ждать в чистом поле, пока вы его завершите...

Совет его был весьма настоятельным: договорив, он закрыл окошко, и я оказался в темноте.

Перед личной встречей со Смотрителем полагается очистить душу, совершив так называемое Большое Покаяние – вспомнить всю свою жизнь и раскаяться в совершенных грехах («переосмыслить» их, как поясняют монахи Желтого

Флага).

Разумеется, если делать это добросовестно, вспоминая каждого раздавленного муравья, Смотрителю придется ждать очень долго, поэтому разновидность покаяния, рекомендуемая на практике, называется «быстрым Большим Покаянием»: кающийся осмысляет лишь то, что само проявляется в памяти. Если кается солик, он вспоминает созданный им мир – и сокрушается о его недостатках.

Но моя двадцатидвухлетняя совесть была не то что чиста – ее вообще ни разу не доставали из чехла, где она хранилась. При моем образе жизни для этого не было повода, ибо я принадлежал к роду де Кижэ – что одновременно считалось и высочайшей честью, и проклятием.

Проклятие нашего рода в том, что все де Кижэ обречены жить в Идиллиуме. Они не могут уйти в личное пространство. Но есть известное суждение диалектиков на наш счет: если ты – де Кижэ и рос в Идиллиуме, тем самым ты его создавал, хотя бы отчасти. Поэтому при подобных религиозных процедурах нам полагается думать про Идиллиум – и каяться за его недостатки (или за то, что мы по неразумию таковыми считаем).

Это я и начал делать.

Идиллиум, думал я неторопливо, это большой остров или маленький материк, кому как нравится. В силу особенностей рельефа здесь сосуществует множество разных климатических зон. Вокруг – море. Кругосветных путешествий никто не предпринимал, но, если мы решимся на это, нашему миру придется, видимо, расстаться с приятной неопределенностью своего статуса и стать залитым водой шаром.

Столица наша тоже называется «Идиллиум», хотя много раз делались попытки переименовать ее то в Пауловилль, то даже в Архатопавловск (от чего, по моему, разит совершеннейшей Ассирией). Самым изящным из предлагавшихся вариантов было, на мой взгляд, название «Светопавловск» – но не прижилось и оно. Дело, наверно, в том, что термин *Idyllium* ввели в обиход Трое Возвышенных – и лучшего способа увековечить память одного из них нет.

Столица наша довольно скучна. Здесь постоянно околачиваются в основном чиновники да монахи, посвятившие себя защите мироздания и постижению его тайн. Они состоят в орденах «Желтый Флаг» и «Железная Бездна» (различить их довольно просто по татуировкам; кроме того, у первых медитативные резонаторы имеют вид маленькой медной головы, а у вторых это череп).

Этим орденам мы обязаны очень многим – в том числе техникой и культурой. Именно ими был создан Corpus Anonymus, как называют сочинения монастырских писателей и поэтов, давших обет анонимности. Но в столице живут не только монахи – селиться тут может кто угодно, и народу на улицах довольно много.

Когда я говорю «обречен жить в Идиллиуме», это не значит, что участь де Кижэ совсем уж горька. Идиллиум вполне себе счастливое местечко, и бежать из него ни к чему. Но это лишь центральный перекресток мира – узел, делающий возможным все многообразие опирающихся на него личных вселенных.

Если живущий в Идиллиуме человек чувствует в своей груди свободу и силу (а это всегда зависит больше от внутренних причин, чем от внешних), и если он к тому же наделен фантазией и волей, Флюид становится к нему благосклонен – и человек получает возможность совершить то, что с легкой руки Бенджамина Певца называют у нас «coming in»: создать свой мир. Для этого он уходит на одну из наших невнятных границ – берег моря, пустыню, лесную чащу или любую другую из «внутренних территорий», как называют пригодные для практики места.

Он селится в простой хижине, выбирает благоприятное для созерцания направление и, повернувшись туда лицом, сосредотачивается на образах мира, куда хотел бы уйти. Если душа его чиста, а сосредоточение достаточно сильно, Ангелы соглашаются ему помочь, и Флюид воплощает его мечту, открывая перед ним двери в новый мир.

Таких людей называют соликами (кажется, этот термин происходит от брака слов «solus» и «стоик», но монастырские поэты видят в нем «соль четырех великих элементов – земли, воды и воздуха с огнем»). В официальных бумагах «каминг ин» принято именовать Великим Приключением, но говорят так редко.

Иногда солики возвращаются из личных пространств – чаще всего ненадолго. На улице сразу можно узнать вернувшегося солика по диковатому взгляду и необычному внешнему виду – от крайне сурового до избыточно утонченного.

Соликов уважают. Принято считать, что первыми из них были Трое Возвышенных, наши отцы-основатели. Но в полной мере это относится, пожалуй, только к Бенджамину Певцу в силу его связи с музыкой. С Павлом и Францем-Антоном сложнее: мир, куда они вывели избранных с Ветхой Земли, нельзя назвать чьим-то индивидуальным проектом, потому что его теперь продолжаем мы все.

Франца-Антоня даже называют новой ипостасью Бога-Творца. Но разве быть Творцом – личное приключение? Твари из ковчега вряд ли согласятся. Впрочем, теологи решают эту проблему запросто, такая у них работа – только слушай.

Карету сильно трясло на ухабах, и мои мысли из-за этого выходили какими-то рваными. Если уж мне выпало каяться за Идиллиум, думал я, надо обязательно пожаловаться на то, что мне никогда не хватало наших денег, глюков.

Gl?sk по-немецки – «счастье». Изобретена наша расчетная единица была лично Павлом Великим, склонным к педантичному буквализму: эта валюта обеспечена не хранящимся в банке золотом, не льющейся в мире кровью и не экспортируемым в другие земли хаосом, как в разные времена практиковали менялы Ветхой Земли, – а непосредственно переживаемым счастьем.

Известный объем счастья может быть экстрагирован из монеты любого достоинства с помощью простейшего устройства, глюкогена, продающегося обычно за символическую сумму – ровно один глюк. Сама монета чернеет, и на ней проступает символ «С» – то есть «погашено». После этого она годится лишь на переплавку – ее больше не примут ни люди, ни торговые машины.

Глюкоген в виде изящной костяной трубки был у меня с десяти лет – подарили на день рождения. А вот глюков для возгонки почти не водилось. Они, как полагали мои учителя, могли помешать моему образованию.

Глюки детям ни к чему, гласит известная пошлость, отчего-то выдаваемая у нас за мудрость. Наоборот, господа, наоборот – это взрослым глюки не нужны.

Они способны доставить настоящее счастье только ребенку: для него распустить монету в глюкогене подобно короткому и свежему морскому путешествию.

Чем старше мы становимся, тем меньше радости в такой процедуре – богатому старику она напоминает щекотку, даже не особо приятную. Поэтому взрослые редко возгоняют глюки в счастье просто так, а копят их и копят – чтобы купить какую-нибудь ерундовую вещь, которая, по их мысли, и должна принести им то самое счастье.

Любому ребенку, однако, ясна глупость подобной трансакции, следующая из уравнений духовной физики: в покупаемом предмете не может заключаться больше счастья, чем в расходуемых на него глюках, ибо часть содержащегося в монетах счастья будет неизбежно потрачена на социальное трение и прочие издержки.

Но в разном возрасте счастье имеет разный вкус, ибо сделано из нашей собственной энергии – тут ничего изменить не смог даже сам Павел Алхимик. Для старичья, наверно, инвестиции действительно лучший выход. Поэтому символично, что в именных ассигнациях на большие суммы никакого счастья уже нет – хоть за каждую можно получить целый мешок глюков.

Другим интересным нововведением Павла стал Единый Культ, где после Трансмиграции были объединены святыни и идеалы всех религий (что, по счастью, сопровождалось уничтожением большинства религиозных запретов).

У Единого Кulta сложная теология, но лучше всего его суть выражает запомнившаяся мне с младенчества фраза из детской книги для чтения:

«Один человек, обращаясь к Богу, скажет “Иегова”, другой – “Аллах”, третий – “Иисус”, четвертый – “Кришна”, пятый – “Брама”, шестой – “Атман”, седьмой – “Верхнее Существо”, восьмой – “Франц-Антон”. Но Бог при этом услышит только “эй-эй!” – и то если очень повезет...»

Книга, конечно, хитрила – число «восемь» в Едином Кulte считалось счастливым и сакральным. Главным символом Кulta стал так называемый павловский (бывший мальтийский) осьмиконечный крест – соединивший в своих

раздвоенных лучах христианское пересечение горнего и дольнего с благородным восьмеричным путем последователей принца Сиддхартхи.

А самым спорным элементом новой религии мне всегда казалось метафизическое положение о божественности Франца-Антон, одного из Трех Возвышенных. Это следовало понимать не иносказательно, а буквально: Франц-Антон преодолел физическое и стал потоком благодати, изливающимся на Идиллиум (и одновременно самим Идиллиумом). С точки зрения высокой догматики все мы – просто мысли, случайно приходящие ему в голову.

«Господь Франц-Антон больше не управляет Флюидом сам, – звонко отвечал я на уроках. – Он удалился в абсолютное спокойствие, равновесие и невмешательство. Он позволяет вещам изменяться в соответствии с их собственным путем...»

Но в это, конечно, мало кто верил: трудно обосновать трансформацию физического тела в благодать иначе, чем опираясь на саму же благодать, полученную из такой трансформации. А у Павла Великого и Бенджамина Певца божественного статуса почему-то не было (хотя некоторые из теологов утверждали, что голосами Бенджамина поет не кто иной, как сам Господь Франц-Антон). Павел же был просто первым Смотрителем.

Но за слишком смелые рассуждения на эту тему можно было заработать хорошую порцию розог, и не только в детстве: заведенный Павлом порядок соблюдался свято. Павел же полагал, что теологов и философов следует еженедельно пороть, чтобы вернуть их к фундаментальной дихотомии «материя – ум», которую они, пренебрегая личной духовной практикой, склонны забывать в своих эмпиреях.

Впрочем, думал я, трясясь в темноте на ухабах, слишком долгое покаяние за мелкие нестыковки Идиллиума неуместно с моей стороны – его ведь на самом деле создал не я, а Трое Возвышенных. Я просто здесь вырос. Но лучше уж немного перестараться. А покайся за Идиллиум, можно начинать каяться за свой род и себя лично.

Это будет несложно.



Есть люди, оставившие довольно много потомства. К их числу относится и наш родоначальник, носивший простую русскую фамилию Киж (это было еще до того, как при Антонио Третьем в моду вошли имена, искаженные на французский, итальянский и античный манер).

Киж, известный своим распутством («великим развратом», как удачно выразился один из переводчиков Светония), был одним из сподвижников Павла Великого и оказал императору неоценимую услугу. Он взял у судьбы награду натурой, ибо происходил из гвардейских офицеров и больше всего в жизни ценил ее влажную корневую суть. Под конец он совершил какое-то преступление, сохраняемое в тайне – и мы, потомки, до сих пор за него расплачиваемся.

У Кижы было больше пятисот любовниц. То же самое, впрочем, говорили и про Павла, только Павел обычно уподоблялся Кришне, нежно играющему на флейте для пастушек, а Киж – буйнопомешанному, устроившему дебош в публичном доме; здесь таилась непонятная несправедливость, из-за которой наш род, считаясь одним из самых знатных в Идиллиуме, был одновременно своего рода непристойностью.

Все де Кижы прикованы судьбой к месту своего рождения – где как бы искупают неясную вину предка. Многие из старших бюрократов, служащих в канцеляриях Идиллиума, и все без исключения Смотрители происходят именно из нашего рода (ходила шутка, что к нему же принадлежат и Ангелы Элементов – это, конечно, ерунда, но дает представление о нашей вездесущности).

Детство, проведенное в строгости – залог счастья в зрелом возрасте. Просто потому, что обойденному усадями долго не надоест все то, чем пресытится человек, утопавший в развлечениях с младенчества.

Обыкновенно де Кижы воспитываются в монастыре – а по достижении двадцати двух лет им доверяют какую-нибудь ответственную должность. Часто это делает лично Смотритель. Тогда в их жизни появляются обычные человеческие радости, но до этого момента они почти отсутствуют.

Я вырос в фаланстере «Птица» возле одного из монастырей Желтого Флага (когда мне исполнилось двенадцать лет, меня записали в этот орден в чине шивы, на что, конечно, я не имел ни земного, ни небесного права). Обращались со мной строго. Вместе со мной росли несколько других монастырских детей,

моих сверстников и, возможно, родственников.

Я не был среди них ни самым сильным, ни самым слабым (то же касалось и моих умственных способностей). По мнению воспитателей, так человек развивается лучше всего: он не чувствует себя неполноценным, тянется за теми, кто быстрее, умнее, веселее – и понемногу учится преодолевать себя.

Вместе со всеми я тренировался в концентрации, учил стихи, мыл посуду на кухне, зубрил историю Катаклизма и Возрождения, подметал двор и даже пас одно время монастырских свиней, что тогда вызывало у меня отвращение, а сегодня кажется идиллическим и милым. Еще я, как и все дети, с удовольствием добивал отработавших свое големов – за что сегодня мне стыдно.

В двенадцать лет меня разлучили с фаланстером «Птица» и отправили в фаланстер «Медведь», расположенный в горах к северу от столицы.

Помню мое первое от него впечатление: мы едем по горной дороге – и после поворота надо мной нависает как бы немыслимая серая плотина, перерезающая ущелье... Проходит секунда, и я понимаю, что это не плотина – мы слишком высоко, – а фасад возведенного между скалами здания с редко расставленными окнами.

В этой плотине я и провел следующие десять лет. Внутри она оказалась неожиданно комфортабельным местом – там были спортзал, пара кафе и длинный бассейн с морской водой. Серьезная школа для высшей элиты. Я обучался так же анонимно, как и прежде.

Нас учили физическому совершенству, древним языкам и так далее – как обычно в таких местах. Мы даже решали квадратные уравнения (они казались мне скорее продолговатыми – и особого успеха в этом я не достиг).

Кроме того, в моем образовании появились и технические предметы: в те годы праведность медитаторов Железной Бездны была вознаграждена, и в нашем быту появились первые вычислители и умофоны.

Помню, как мы разбирали их и вынимали из латунных цилиндров полоски бумаги с непонятными мантрами на латыни. Говорили, что их специально пишут

чернилами, полностью выцветающими за два года – чтобы заставить покупателя обновлять модель.

Сейчас я предполагаю, что память об этих нудных уроках вбивали в голову будущему Смотрителю специально – для того, чтобы у него навечно угас интерес к технике. Если так, то цель была достигнута.

Но нас не слишком интересовали все эти технические новинки – мы главным образом увивались за хорошенькими прислужницами и официантками, чей полумонашеский статус совершенно не препятствовал нашему общению из-за специфики данных ими обетов. Бедняжки по-настоящему любили работу с молодежью, но их было мало, и на их благородную жертву у нас стояла серьезная многодневная очередь, отчего я привык придавать этой гигиенической процедуре значение и ценность, которых она сама по себе лишена.

Во втором фаланстере со мной обращались строже, чем прежде. Я объяснял это тем, что меня невзлюбили учителя, особенно учитель медитации. Хоть мои тренировки в концентрации прекратились, от меня теперь требовали невероятных усилий в визуализации.

Мне, например, несколько секунд показывали парадный портрет тогдашнего Смотрителя, Никколо Третьего, а затем я должен был описать его во всех подробностях – от черной маски на лице до крохотных рубинов в ошейнике придворной собаки. Если я не ошибался в своем отчете ни разу, меня могли спросить, например, про форму мазков, которыми написаны канделябры золотой люстры.

К счастью, я проходил подобные проверки без особых трудностей – к визуализации у меня определенно был талант, и первые упражнения по ее развитию начались еще в «Птице».

Мои успехи в математике и физике оказались скромнее. Я писал неплохие сочинения по литературе, но учитель словесности отмечал в них «бедность слога и боязнь актуального высказывания» (до сих пор не понимаю, что имел в виду этот трогательный поэт-неудачник, полный желчи, так и не алхимизировавшейся в чернила).

Еще я неплохо рисовал, но меня бесили темы, задаваемые на уроках – изобразить капитель колонны, голову мраморной женщины, в подробностях перерисовать карандашом древний масляный пейзаж (оригинал убрали, дав мне посмотреть на него пару секунд, из чего я делал вывод, что меня продолжают натаскивать в визуализации).

Это, конечно, дало результаты. Эклектичные символы Единого Культа становились объектом моей концентрации лишь на время экзаменов – зато к концу своего обучения я так развил свой дар, что мог закрыть от скуки глаза, вспомнить любую красивую девушку, и она оставалась со мной наедине столько, сколько я хотел. Товарищи не верили и завидовали – им для стимуляции воображения нужны были фотографии и рисунки.

В двадцать два года я закончил наконец вторую школу (еще много лет после этого стандартный ночной кошмар об экзамене, к которому я не готов, происходил в ее длинных сводчатых коридорах).

И вот за мной приехали четыре фельдъегеря в красных камилавках, посадили меня в комфортабельнейшую карету (в ней, правда, было что-то от одиночной клетки для сумасшедшего, обитой изнутри мягким) – и повезли в столицу, велев каяться, не теряя времени.

Что ждет теперь? Счастье? Или, может быть... смерть? Не принесут ли меня в жертву во время какого-нибудь жуткого ритуала, настолько секретного, что я о нем никогда даже не слышал?

Добравшись в своих мыслях до этого места, я понял – покаяние закончено. Как мало я успел нагрешить, подумал я с усмешкой, гожусь на роль агнца.

Фельдъегери волновались зря. Мы еще не добрались до станции воздушной почты.

Если покаяние было успешным, Ангелы посылают кающемуся знак, и на него нисходит глубокий сон. Так случилось и со мной – я заснул сладко и беспробудно, и не заметил толком, как меня перенесли из кареты в почтовый монгольфьер, летевший в Михайловский замок: мне только запомнился длинный коридор, по которому меня волокли.

Когда я проснулся, в ободранной кабине монгольфьера не было никаких фельдъегерей, а одни тюки с почтой: возможно, мои грозные сопровождающие требовались на тот случай, если из меня при покаянии начнут исходить бесы... Но я не додумал эту мысль: в окошке уже видна была кордегардия Михайловского замка – и его сверкающие башенки, озаренные утренним солнцем, трепещущие разноцветными флагами... Мы снижались.

Вот так я почти полностью проспал свой первый воздухоплавательный опыт.

Я не особо волновался перед аудиенцией: возможно, назначат в адъютанты к какому-нибудь уставшему от дел чину, и что? Буду делать его работу, постепенно входя в курс дел. Так с де Кижэ бывало сплошь и рядом – и для карьеры считалось лучшим возможным стартом: когда чин умирал, бывшего помощника нередко назначали на его место. Но могли, конечно, определить и в простые секретари.

Михайловский замок был величественно огромен. Впрочем, он не столько потряс меня своим великолепием, сколько пробудил в моей груди какое-то щемящее подобие ностальгии по великому прошлому.

На фронтоне горела золотая надпись:

Дому Твоему подобает

Святыня Господня в долготу дней

Я знал, что такая же была на петербургском замке, и теологи до сих пор спорят о ее значении, – но рассуждать о нем казалось мне бесполезным. Михайловский дворец строили титаны. Они могли говорить с Верховным Существом на «ты», и слова их напоминали грозное Слово, произнесенное в начале времен. Смысл их речи был так же неизъясним, как значение грома, удара молнии или затмения солнца. Где нам было понять его из нынешнего ничтожества?

Меня привели в приемную Смотрителя (я не испытывал интереса к предметам старинного искусства, украшавшим коридоры его огромного жилища, и не запомнил ничего, кроме малахитовых плит пола) – и оставили в обществе

двух охранников и секретаря в простом оранжевом халате без знаков различия. Одетый таким образом чиновник вызывает доверие, подумал я, надо будет запомнить.

Приемная была большой светлой комнатой, убранной на удивление скромно. За атрибуты роскоши здесь могли сойти только вензели на дверях в малый тронный зал: золотые «D» с лазурными ножками, превращающими их в «P», на фоне скрещенных красных фасций с топориками.

Это был какой-то римский символ, заимствованный Единым Культотом из древней истории – потому, наверно, что он без усилий раскладывался на «D» и «P», акроним слов «Далай-Папа» (таков был один из многочисленных экзотических титулов Смотрителя; самым же красивым из них мне казалось слово «Неботрога»).

Заметивший мое любопытство секретарь объяснил, что первоначально фасций не было – их сделали из буквы «X», пересекавшейся с «P» в оригинальном символе. Его смысла секретарь не помнил – но предложил поверить на слово, что с теологическим обоснованием все в порядке.

Мы немного поболтали. Секретарь и сам оказался выпускником фаланстера «Медведь», но, как ни странно, у нас не нашлось ни одного общего знакомого.

Я стал расспрашивать о диковинках Михайловского замка – особенно о знаменитой Комнате Бесконечного Ужаса, куда, по легенде, мог войти только сам Смотритель (ибо хранящуюся там тайну могла вместить лишь его великая душа). Я не особо доверял легендам – и меня интересовало, устраивают ли публичные экскурсии в это помещение, и если да, то как туда записаться.

– Не спешите, мой юный друг, – вежливо сказал секретарь, сомкнув ресницы, дрожащие от еле сдерживаемого смеха, – попасть туда не так сложно, сложно выйти, сохранив рассудок... А про экскурсии я не слышал.

На этом наш разговор как-то сам угас, и я, укорив себя за легкомыслие, закрыл глаза и ушел в сосредоточение, приличествующее важности момента.

Примерно через полчаса я понял, что секретаря и охранников в комнате уже нет. Я не заметил, как и когда они вышли. А потом двери с вензелями растворились.

Сработал, должно быть, какой-то механизм – людей нигде не было. Я увидел коридор, плавно поворачивающий вправо.

Где-то в его глубинах требовательно прозвенел колокольчик.

Я не знал, что предпринять – дожждаться возвращения секретаря или войти. Как первое, так и второе могло впоследствии оказаться проявлением неучтивости. Может быть, правильнее было вообще выйти из приемной.

Я решил так и сделать – но ведущая наружу дверь оказалась запертой. Тогда я сообразил: таков, наверное, здешний ритуал – и часть его заключается в том, что неопита ни о чем не предупреждают... Колокольчик в глубине изогнутого коридора прозвонил еще раз – крайне, как мне показалось, нетерпеливо, – и я пошел на его звук.

Стены коридора были украшены теми же повторяющимися вензелями. Через каждые несколько метров из стены торчала золотая рука, сжимающая факел с лампой, спрятанной среди красиво преломляющих свет кристаллов. Пройдя мимо трех или четырех таких факелов, я в недоумении остановился.

Происходило что-то странное. Коридор загибался вправо, сворачиваясь огромной улиткой. Подобное, конечно, несложно было построить. Но при такой геометрии коридор никак не мог сосуществовать с приемной – а должен был находиться на ее месте. Я сейчас шел по той же самой комнате, где прежде сидел. Или я прежде сидел в том же самом коридоре, где сейчас шел.

Я решил, что это оптическая иллюзия, – и потрогал стену. Затем коснулся одного из вензелей Смотрителя. «D» было из холодного золота, ножка «P» – из стеклянистой эмали, тоже холодной, но по-другому.

Все здесь выглядело настоящим, и центр коридора-улитки был уже близко. В качестве последнего опыта я дотронулся до светящихся кристаллов над лампой – и отдернул руку: они были нестерпимо горячими от благодати. Я тихо выругался, и из-за поворота долетел ухающий смех.

Мне стало страшно. Через мой ум пронеслось множество версий происходящего, все тревожные. Наиболее вероятным казалось, что меня усыпили вызывающим галлюцинации газом. Но тогда я не мог бы так связно строить эти гипотезы,

думал я. Вряд ли газ может действовать настолько избирательно.

Колокольчик требовательно зазвенел снова. Я отбросил сомнения и страхи – и решительно пошел вперед.

В тупике коридора стояло золотое кресло, накрытое тигровой шкурой. В кресле сидел Далай-Папа, Великий Магистр Желтого Флага и Смотритель Идиллиума Никколо Третий – в таком же оранжевом халате, как на секретаре, но со знаками высшего медиума – и глядел на меня сквозь прорези своей черной маски.

Он носил такую не один – я уже видел нескольких высокопоставленных лиц в похожих масках. Возможно, так принято было в каком-то внутреннем ордене, чью униформу Смотритель надевал из тех же соображений, из каких государи Ветхой Земли облачались гусарами (не говоря уже о том, что в лицо Смотрителя никто не знал, и он мог, наверное, играть по вечерам в Гаруна-аль-Рашида).

Я помнил из школы, что с богословской точки зрения при обращении к Далай-Папе уместны три титула: «Ваше Переменчество», «Ваше Безличество» и «Ваше Страдальчество».

Обычно пользуются словом «Безличество», поскольку его можно отнести не только к лишенной постоянного «я» природе Смотрителя (которую он, как известно, разделяет со всем сущим), но и к его маске, что придает этому обращению свежий либерально-светский оттенок. Два других титула, уравнивающих Смотрителя с прочими феноменами Вселенной, используются лишь в священных документах – употреблять их при встрече считается фамильярностью.

– Ваше Безличество...

Я совершил перед Смотрителем тройное простираие – как того требовал этикет (обычно выпускники государственных школ совершают этот ритуал перед пустым креслом Далай-Папы). Закончив, я так и замер на коленях.

– Можешь встать, – сказал Смотритель. – Ты знаешь, почему ты здесь?

– Нет, ваше Безличество, – ответил я, поднимаясь.



– Если со мной что-то случится, тебе придется сесть в это кресло. Ты мой преемник. Так сказать, запасной Смотритель. Совсем не такой, как я.

– Я...

– Надеюсь, – продолжал Смотритель, – что до этого у нас в ближайшие годы не дойдет. Но такова была воля Ангелов. Ты здесь исключительно благодаря им.

Он хмыкнул, как будто в этом было что-то смешное.

– Ты ведь догадывался, зачем тебя сюда везут? Когда каялся в карете?

– Нет, – ответил я.

Я не врал.

– А я сразу понял, – сказал он. – Просто из-за количества мучений, которые пришлось вспомнить. Мне казалось, что их обязательно должно увенчать какое-то окончательное и всеобъемлющее издевательство – вроде финального аккорда в симфонии. Тебе, я уверен, тоже жилось не сладко. Ты ведь де Кижэ. Ты и вправду не думал ни о чем мрачном?

Я вспомнил, что этикет требует от собеседника Смотрителя предельной откровенности.

– Думал, – признался я. – О смерти. Но совсем недолго.

Смотритель засмеялся.

– Ты, Алекс, оптимист. Прекрасная черта для будущего Смотрителя. Постарайся сохранить это качество.

– Оптимист? – удивился я. – Мне кажется, это самое мрачное, что возможно.

Мой собеседник покачал головой.

– Смотритель – не наместник Трех Возвышенных, как вас учат, – сказал он. – Смотритель – это военный. А смерть для военного – отдых. Ее надо заслужить.

– Но в нее можно уйти незаслуженно.

– Да, так часто и происходит, – кивнул Смотритель. – Как ты думаешь, почему последние двадцать лет никто из Смотрителей не проводил Saint Rapport? Почему его раз за разом назначали и отменяли?

Вопрос поставил меня в тупик. Я об этом никогда не задумывался. Слова Saint Rapport вообще крайне мало для меня значили – ни одного из них я не видел сам. Последний случился при моей жизни, но я тогда был слишком мал.

Я знал, конечно, что так назывался один из главных праздников Идиллиума, на который возвращаются из личных пространств многие солики. Это было красочное зрелище – Смотритель появлялся перед людьми в старинном мундире времен Павла Великого, на коне и со шпагой в руке; ритуал, вероятно, много значил для нашей официальной идентичности – но никакого смысла, кроме карнавального, я в нем не видел.

– Экономят средства?

Мое предположение было логичным: я знал, что во время Saint Rapport на центральной площади для всеобщего удовольствия возгоняется огромное количество глюков, и это событие серьезно обременяет казну.

Никколо Третий отрицательно покачал головой.

– Мы бы не мелочились. Дело в том, что двух прежних Смотрителей, пытавшихся провести ритуал, убили.

– Убили? – выдохнул я. – Я никогда не слышал, что кто-то из недавних Смотрителей умер насильственной смертью.

– На самом деле смертей было гораздо больше, – сказал Смотритель. – Мы просто держим их в секрете. Я не первый ношу имя Никколо Третий. Тот, кто был до меня, ничем от меня не отличался. Ты же совсем другой.

Это прозвучало жутковато, абсурдно – но я сразу поверил.

– Кто их всех убил? – спросил я.

– Мы называем его Великий Фехтовальщик.

– Странное имя.

– Многие думают, что это одержимый местью демон, упомянутый в дневнике Павла. Лично я в такое не верю – непонятно, почему Фехтовальщик появился только сейчас. Можно предположить, конечно, что последние две сотни лет он старательно тренировался в аду. Кто это в действительности, откуда он приходит и что за сила его направляет, мы не понимаем. Может быть, за Фехтовальщиком стоит кто-то из великих соликов, обретших над Флюидом невероятную власть. Но в таком случае Ангелы должны видеть, как он создает вихрь Флюида, а они этого не наблюдают.

– Что-нибудь еще известно? – спросил я.

Никколо Третий развел руками.

– Ничего. Фехтовальщик возникает и исчезает непонятным образом. Мы даже не знаем, машина это, голем или живое существо. Знаем только, что он произвольно меняет форму.

– Вы его видели сами?

– Да, – сказал Никколо Третий. – Именно поэтому я теперь большей частью сижу в кресле. Ходить я могу, но мне не особо приятно.

– Разве Ангелы не могут нас защитить?

Никколо Третий хрипло засмеялся.

– Ангелы, чтобы ты знал, сами нуждаются в нашей защите. Особенно сейчас... Но давай не будем сегодня в это углубляться, Алекс.

Я не возражал – мне самому начинало казаться, что за последние несколько минут я узнал слишком много государственных секретов. Но один вопрос все же сорвался с моих губ:

– Разве Ангелы не всеведущи? Не вездесущи? Не всеильны?

– Не в этом случае, – сказал Никколо. – Здесь они ничем не могут нам помочь. Так что быть Смотрителем не отдых, Алекс. Это тяжелый и опасный труд.

– Я готов подвергнуться опасности вместо вас, Ваше Безличество, – сказал я, положив руку на сердце.

– Спасибо. Но природа нашей власти такова, что это невозможно. Тебе придется подождать моей смерти. Которая, возможно, не слишком далека.

– Почему вы так считаете?

– Через год мы попытаемся еще раз провести Saint Rapport. Если это не получится, на моем месте окажешься ты... Если оно вообще сохранится, место.

Я поклонился – ответить на эти слова как-нибудь иначе было бы бестактностью.

– Живи в уединении, – продолжал Смотритель. – Никто не должен знать, что ты мой преемник. Пусть тебя считают просто моим сыном, закончившим обучение. Это откроет перед тобой все двери – и закроет все рты. Самое главное, ты будешь в безопасности. На тебя будут смотреть как на обычного прожигателя жизни.

– Что мне нужно делать? – спросил я.

Черная маска на лице Смотрителя не изменилась, но по еле заметному движению век я почувствовал – он улыбается.

– Прожигай жизнь. Веселись и ходи по путям своего сердца, только не сломай себе шею. Но знай...

Никколо Третий замолчал, и я понял, что он ждет от меня продолжения.

– Верховное Существо призовет тебя к ответу, – тихо договорил я.

Он кивнул.

– Именно. Но это ваши с ним дела, хе-хе. А я попрошу о другом – не прекращай тренировок в визуализации. У тебя великолепные данные, и твои способности пригодятся. Твоим наставником будет мой помощник и друг Галилео – он ждет в коридоре. У тебя будут и другие учителя. О самом важном я расскажу тебе лично... А сейчас я прощаюсь.

Смотритель с некоторым усилием встал, поднял подбородок и закрыл глаза. Его плечи несколько раз дрогнули, и он замер. Мне показалось, будто он превратился в собственную куклу.

А потом я понял – вовсе не показалось. Теперь передо мной действительно стояла стандартная кукла Смотрителя, вроде тех, что украшают храмы Единого Культа. Это был впечатляющий способ завершить аудиенцию.

Трижды поклонившись, я попятился – а когда кукла Безличного скрылась за поворотом, повернулся и пошел назад по коридору-улитке.

Как только я шагнул в приемную, двери за моей спиной закрылись. В приемной по-прежнему никого не было. Я опустился на стул и стал обдумывать услышанное.

Надо сказать, восторга я не испытывал – скорее меня охватил страх. Нас с детства учили, что жизнь Смотрителя – это непрерывный подвиг ради блага человечества и беззаветная жертва на алтарь всеобщего счастья. Судя по тому, как стоически глядел на свою роль сам Смотритель, это могло быть не официозной пропагандой, а правдой.

Видимо, моя мысль о жертвоприношении во время неизвестного ритуала была пророческой. Я чувствовал себя не столько наследным принцем, сколько жертвенным бараном, которому обещали позолотить рога перед процедурой. Это, конечно, льстило – но я не возражал бы против роли скромнее.

Хотя, конечно, все могло объясняться проще. Может быть, Никколо Третий просто стремится избавить меня от излишнего нетерпения и энтузиазма. Это ведь было не его решение, а Ангелов. Он сам так сказал.

Пока я думал, приемную стал заполнять народ. Это был выпуск какой-то школы – судя по тому, что молодые люди и девушки шли вместе, светской. Треугольная эмблема на их лиловых робах ничего мне не говорила. Скорей всего, решил я с завистью, будущие солики.

Наконец в приемную вернулся секретарь. Он несколько раз хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Когда вокруг установилось благоговейное молчание, двери с вензелями открылись.

Но теперь за ними не было коридора-улитки. Там был малый тронный зал.

Подчиняясь любопытству, я вошел туда вслед за всеми.

Зал был пуст. Ни стульев, ни скамеек – только коврики для простирания. У его противоположной стены стоял золотой трон с наброшенной на него тигровой шкурой. Трон тоже был пуст. А рядом стояла кукла Смотрителя в натуральную величину. Точно такая же, с какой я совсем недавно попрощался.

Все это, надо сказать, меня не особо удивило. Я слышал уйму загадочных историй о Смотрителе и не сомневался, что встреча с ним могла быть обыденной, понятной и заурядной только в том случае, когда речь шла о его кукле – вот как сейчас.

Все мы упали на колени и совершили тройное простирание. Кукла Смотрителя совершила в ответ свой стандартный угловатый поклон. Мы вышли из зала через другие двери, и охрана провела нас по коридору во двор. Гражданский ритуал был окончен.

Во дворе стояло несколько омнибусов, куда погрузились лиловые студенты, – и черный самобеглый экипаж, старомодный, длинный и излишне обтекаемый. Возле него стоял пожилой человек в черном халате. «В седой служебной бороде без знаков доблести и чина», – вспомнил я строчку из какого-то юмористического стиха. Впрочем, на его халате блестела непонятная лычка – то ли знак ордена, то ли монастырский оберег.

– Добрый день, Алекс, – сказал он. – Меня зовут Галилео. Я отвезу тебя домой.

– В фаланстер? – спросил я.

– Нет. У тебя теперь будет новый дом. Свой собственный.

По дороге Галилео рассказал о себе. Как и все сподвижники Смотрителя, он был соликом, на старости лет вернувшимся из личного пространства, чтобы служить Идиллиуму – считалось, что так поступают особенно благородные души (или те, кто признал свой поход в неведомое неудачным, но говорить о таком было не принято).

Буквально в двух словах он рассказал про свой «каминг ин»: как следовало из его имени, он был оптиком, поселившимся на далеком заброшенном маяке («где мир», сказал он, «мог лишь глядеть мне в спину»).

Он строил подзорные трубы разной силы и типа, и постепенно Флюид позволил ему открыть на небе новые миры, а потом наблюдать за жизнью и эволюцией их обитателей. Он предавался своим наблюдениям много лет.

– Однажды, – сказал Галилео, – я увидел огромный взрыв, с которого все началось. Мне стало очень грустно. Я понял, что видел ту самую смерть Бога, которую тайком оплакивает столько монастырских философов и поэтов. Ведь то, что взорвалось, не может существовать одновременно с получившейся из взрыва вселенной... Мы все просто осколки этого взрыва, Алекс. Но я, разумеется, не повторю этого в обществе теолога. Я слишком стар для того, чтобы меня пороли.

В конце концов, сказал он, ему наскучило лорнировать этот небесный спектакль, ибо он не мог более от себя скрывать, что все наблюдаемое есть его собственные мысли и догадки, спроецированные Флюидом ввысь. Тогда он решил вернуться к «живым реальным людям», чтобы посвятить остаток жизни их счастью.

В его лице было что-то такое, что я ему поверил.

В какой-нибудь из древних земных империй было бы невозможно выдать себя даже за захудалого князя. Уйма людей сразу задалась бы вопросом, почему они не знают вас с детства. Но социальный горизонт Идиллиума обладает удивительной пластичностью – чтобы не сказать дырявостью.

Сын Смотрителя, поселившийся в одной из его летних резиденций, никого не заинтересовал. От отпрыска (незаконного, как все понимали без вопросов) не было никакого толку, он не мог помочь в делах – и вызывал любопытство разве что у галеристов, антикваров и торговцев предметами роскоши.

Официально мое новое жилище называлось «летняя резиденция номер три» (название деликатно умалчивало, чья именно). Там же, говорили, жил в свое время и молодой Никколо Третий – когда его имя еще не сопровождалось порядковым номером.

Неофициально это место называли «Красным Домом» – из-за династического убийства, якобы совершенного там век или два назад (Галилео называл это выдумкой дворцовых стилистов, считавших, что над каждой из резиденций де Киже должно дозветь небольшое декоративное проклятье).

Это была утопающая в садах (вернее, полностью в них утонувшая) деревянная вилла, тихая, тенистая и совсем лишенная помпезности – даже отдаленные постройки ее морского причала выглядели куда солиднее, чем она сама.

Когда я прибыл сюда впервые, прямо во дворе у фонтана меня ждали традиционные три подарка будущему преемнику.

Я не был знаком с дарителями, но сопроводительная записка из канцелярии Никколо Третьего уверяла, что им предстоит сыграть в моей жизни большую роль – если та, конечно, сложится благоприятно и я стану Смотрителем. В этом присутствовала двусмысленность: «благоприятный курс» моей жизни подразумевал уход Никколо.

Канцелярия Смотрителя призывала меня не выискивать в самих подарках тайного смысла и видеть в них простое проявление вежливости. Это мне почти



удалось – не столько из-за доверия к канцелярии, сколько по душевной лени.

Первым подарком был поющий Франклин «с расширенным репертуаром» – он прибыл от архата Адониса из Железной Бездны. Я знал, что в Железной Бездне занимаются в том числе и техникой – телефонами, моторами, благодатными ветряками и прочим, отчего выбор подарка меня не удивил: поющих Бенов делали там же.

Для меня всегда было загадкой, кто сочиняет песни для этих стоящих по всему Идиллиуму статуй. Я не имел склонности к конспирологии, но не верил и в то, что это «благодать Господа Франца-Антоня, самопроизвольно проявляющаяся через звук и слово». Иконы плачут с помощью попов – и поют, видимо, тоже.

Скорее всего, думал я, где-то существует секретный департамент, занятый репертуаром Поющего Бена – и преогромный департамент, потому что песен Бен знал большое количество и постоянно пел новые, на разных языках. Поражало, как творческую деятельность такого размаха удастся держать в тайне.

Лишь когда моего Франклина вынули из коробки и собрали, я оценил подарок в полной мере. Это была изысканная и дорогая статуя – толстяка Бена отлили наполовину из бронзы, наполовину из золота с серебром. На его туфлях изгибались платиновые пряжки, а на камзоле вместо пуговиц мерцали драгоценные камни. Он стоял перед своим знаменитым изобретением – стеклянным органчиком colour revolution, собранным из множества прозрачных разноцветных цилиндров, вставленных друг в друга.

На серебряных пальцах Франклина помещались специальные мягкие нащепки – водя ими по вращающимся цилиндрам, он заставлял стекло петь, извлекая из него тот томительный звук, что доводил когда-то до слез Павла, Франца-Антоня и их друга Моцарта, написавшего для этого органчика несколько милых пьес.

Песня, которую Франклин споев своему владельцу первой, считается важной приметой – своего рода гаданием, напутствием от Неба. Мне выпало нечто странное и не поддающееся однозначной интерпретации.

– Земля! – пропел Франклин, грозно завывая своей стеклянной гармоникой. – Небо! Между землей и небом – война! И где бы ты ни был, что б ты ни делал,

между землей и небом – война!

После этого он надолго умолк.

Я имею в виду, действительно надолго – я его просто выключил и больше не включал. Я с детства предпочитал любой музыке тишину – и полюбил своего Франклина не за песни, а за таинственный неземной свет, зарождавшийся в разноцветных цилиндрах его гармоники, когда на них падал вечерний луч солнца. Я даже установил рядом с ним особое зеркало, исключительно для усиления этого эффекта.

Вторым подарком был бюст Аниччи ди Чапао, присланный доброжелателями из Оленьего Парка (что это за заведение, я в те дни еще не знал).

Аничча выглядела странно – половина ее лица была юной, красивой и веселой, другая же распадалась, как бы осыпаясь песком... Заглянув в энциклопедию, я узнал, что слово «Аничча» было не только распространенным женским именем – оно означало «непостоянство» на языке пали. Видимо, эту скорбную недолговечность человеческой красоты и пытался отразить скульптор – чтобы зрителю стало не по себе.

Но портрет Аниччи мне нравился, в нем было отчаянное безрассудство юности – одна половинка лица улыбается распаду другой.

Аничча, как я прочел в энциклопедии, была племянницей известного солика и авантюриста Базилио ди Чапао, написавшего на склоне дней трактат о медитации «К Ниббане на одном дыхании». Книга прилагалась к бюсту.

Я положил трактат на полку в своем кабинете, а сверху поставил бюст – чтобы приподнять Аниччу чуть ближе к той самой Ниббане. Теперь она смотрела на Франклина, а Франклин – на нее.

Третий подарок прислал некий невозвращенец Менелай из моего собственного ордена – Желтого Флага. В духовной табели о рангах «невозвращенец» (или «зауряд-архат», но так говорят реже) – это чин духовного совершенства, непосредственно предшествующий архату. Различаются они погонями и еще какой-то ерундой, не особо даже понятной нормальному человеку.

Менелай прислал гравюру работы самого Павла. Она изображала, видимо, фантазию великого алхимика: над морем поднималась огромная башня – нечто вроде архитектурного гибрида Пизанской и Вавилонской. На ее вершине была корона с павловским крестом, а в море внизу извивался похожий на дракона змей, каких рисовали когда-то на картах.

Я повесил гравюру в чайном павильоне – в таком месте, где на нее не падали прямые лучи солнца. В прилагавшемся письме Менелай советовал мне сделать гравюру объектом ежедневных медитативных упражнений – следовало мысленно разбирать башню на части, перемешивать их, не теряя ни один элемент из виду, а потом собирать заново. Это, как он уверял, было стандартным упражнением для будущих Смотрителей уже не первый век.

Вскоре меня посетил монах-наставник из Железной Бездны, в обязанности которого входило следить за моей духовной формой. Он согласился с этим предписанием, заметив, что делать подобное упражнение следовало бы просто из благочестия.

Заодно он объяснил, что две застекленные латинские каллиграфии в моем кабинете не менее ценны, чем гравюра. Они тоже принадлежали кисти Павла. Это была парная надпись – четыре слова на одной стене:

SCIA ME NIHIL SCIRE

И пять на другой:

SCIRE OMNIA EST NIHIL SCIRE

Буквы были высокими и узкими, как бы протоготическими – и напоминали о надписях, сохранившихся на стенах Помпей.

Монах-наставник спросил, как я понимаю смысл этих изречений. Я гордился своими познаниями в латыни – и объяснил, что первая надпись была римским псевдосократизмом «я знаю, что ничего не знаю», а вторая – похожей по смыслу

банальностью: «кто знает все, тот не знает ничего».

– Почему же Павел соединил эти две банальности в каллиграфию? – спросил монах.

Я пожал плечами. Мне это было непонятно – и не особо интересно.

Изобразив на лице сочувствие к чужому слабоумию, монах объяснил, что Павел и его соратники понимали эти две максимы иначе: «знаю, что я знаю ничто» и «познать все – это познать ничто». Что радикально трансформирует смысл обоих изречений: речь идет о постижении ноумена, непроявленного Абсолюта, где скрыты все потенциалы... Будущему Смотрителю, добавил он, такие вещи следует понимать сразу.

Когда я пересказал наш разговор Галилео, он рассмеялся.

– Обычные песни Железной Бездны. Идет от архата Адониса, есть у него такой пунктик. Я тебе тоже дам духовный совет: хочешь познать ничто – не заморачивайся ни на чем. Сделай себе на эту тему третью каллиграфию. Красными чернилами, чтоб не забыть.

Но красного цвета в моем новом жилище избегали (если не считать нескольких диванов и ширм) – возможно, из-за связанной с названием легенды. Зато повсюду зеленели стриженные шарами и пирамидами кусты. Старые деревья, причудливые аллеи, живые лабиринты... Зеленой казалась даже тень листвы.

Красный Дом состоял из павильонов, беседок и залов, соединенных переброшенными через ручьи мостиками. Если всему этому и был присущ какой-то архитектурный стиль, то он много лет назад скрылся под не известным мне вьющимся растением вроде плюща – его нежно-фиолетовые цветки были почти на всех стенах.

Речки и ручьи вокруг Красного Дома, увы, не были в полном смысле настоящими. Техники называли их «водной сеткой» – это была замкнутая сеть каналов разной ширины.

Углубившись в лес, можно было дойти до точки, где делался слышен шум турбин, создававших течение воды, а еще дальше стояли два высоких ветряка, вырабатывавших благодать для моторов. Ветряки были самые современные, из тех, где мантры на барабанах написаны в сто восемь слоев, поэтому благодати хватало не только для турбин, но и для освещения с обогревом. Сразу за ветряками начинался периметр охраны.

У Галилео, не верившего в династическое убийство, были два предположения о том, откуда взялось название «Красный Дом» на самом деле. По первому, оно было связано с древним китайским романом «Сон в Красном Тереме». По второму, Никколо Третий в пору своей юности высаживал здесь маковые и конопляные кусты.

Мак очень красив, когда цветет. В остальное время он бывает, гм, вреден. Особенно в том случае, когда дурная привычка появляется у будущего Смотрителя, чей доступ к опьяняющим веществам строго контролируется охраной и воспитателями.

Отчего-то мне было смешно представлять Смотрителя, выпаривающего собранное в саду ширево на спиртовке из химического набора «Познай Элементы» (из того, что Галилео знал даже такие подробности, следовало, что эта сплетня имела под собой основания). А после инъекции, видимо, и наступал «Сон в Красном Тереме» – так что обе версии дополняли друг друга.

Лучшим доказательством того, что это правда, было полное отсутствие мака на территории Красного Дома. Старшие обычно отказывают младшим в том, что позволяли себе сами, считая, что ошибки их молодости не следует повторять. Только они забывают самое главное – ошибки молодости вовсе не казались им ошибками, пока они были молоды. Тогда ошибалось все остальное человечество, а они-то как раз были правы. Именно в этом самообмане и состоит юность...

Но, увы, искусству прожигать жизнь нужно учиться с самого раннего детства. Если вы выросли в строгости и простоте, позже трудно привить себе вкус к пороку даже при наличии серьезного энтузиазма. Именно это со мной и случилось.

Моими новыми друзьями – к счастью, ненадолго – стали дети бюрократов и чиновников, вынужденные жить в столице. Это были купающиеся в роскоши бездельники, не способные или не желающие отправиться в Великое Приключение. От них не зависело ничего в мире, кроме прибыли дорогих гипноборделей и ресторанов.

В их среде было принято звать друг друга по прозвищам, яростно прожигать жизнь (стараясь, впрочем, чтобы дыма было поменьше, а огонь не перекинулся на казенную мебель) – и никогда не говорить о государственных делах или занимающихся ими родичах. Такое могло плохо кончиться.

Никколо Третий сказал правду – спрятать меня лучше было невозможно. Но все мои друзья этой беспечной поры, увы, оказались настолько пустыми и никчемными, что далее я не скажу о них ни слова и коротко опишу лишь свои занятия – вернее, досуги.

Я составил подробный список того, на что тратят время и глюки мои богатые одногодки, и принялся наверстывать упущенное, изредка обращаясь за советом к Галилео. Я не стеснялся делать это, даже когда речь шла о веществах – раз уж он сам рассказал мне о грешках Никколо Третьего.

Наркотики, как нам объясняли в фаланстере, заменяли многим из мирян блаженство медитативных абсорбций. Поскольку абсорбции можно было рассматривать как вариант Великого Приключения, еще в детстве я дал обет не доводить свою медитацию даже до первой из них. И вот наконец меня ждала компенсация. Начитавшись расстриги Бодлера, я полагал, что в искусственном раю путника ждут таинственные и прохладные сады невыразимого наслаждения...

Действительность, однако, меня шокировала – наркотики оказались просто ядами, убивающими мозг. По-детски распустить в глюкогене пару монет было и то интересней – убогая, мимолетная и казенно-оптимистическая эйфория, как я с высоты своего юношеского нигилизма классифицировал наступавшее вслед за этим состояние, нравилась мне куда больше, чем прыжки в кишашщую червями клоаку наркотического транса.

Я не мог поверить, что эти порошки, пилюли и жидкости в таком ходу среди позолоченной молодежи. Меня с младенчества учили пользоваться умом

и чувствами как набором точных надежных инструментов – когда их начинала гнуть, скручивать или поливать кислотой не подконтрольная мне сила, я испытывал самый настоящий ужас. Понять, как мои сверстники могут находить радость на дне этих волчьих ям сознания, было невозможно.

Монах-наставник объяснил, что наркотики, табак и алкоголь относятся к числу, как он выразился, «инициатических удовольствий» – и до появления физической зависимости молодые люди учатся находить радость в вызываемых ими состояниях исключительно под влиянием среды.

– Точно так же внушаемые девушки делают себе пирсинг пупка, – сказал он. – Это нужно для того, чтобы заслужить одобрение воображаемого племени, способного подавать голос даже в сознании совершенно одинокого человека, если его уже посвятили в мистерию так называемого «стиля жизни». Как будто можно жить и умирать брассом или кролем. Впрочем, ведь научат...

Действующие на сознание препараты и вправду напоминали пупочный пирсинг, только гнойные раны в этом случае появлялись не на животе, а в мозгу. Здорового и свободного человека, не ищущего отождествления с какой-нибудь субкультурой, такое вряд ли могло заинтересовать.

Но в миру были, конечно, и радости, не связанные с прямым разрушением физического тела. Например, наслаждение статусом. Теперь оно тоже было доступно мне в полной мере.

Но и тут не все обстояло так просто. Сам по себе социальный статус относится к умозрительным абстракциям, радость от созерцания которых знакома лишь медитаторам-неоплатоникам, а я в их секте не состоял. Но у статуса были многочисленные материальные символы. Вот их-то я и принялся осваивать, беря в пример своих новых друзей.

Я пробовал кататься по морю на огромной галере, за веслами которой сидели двести двадцать два гребных голема. Их оживлял боцман-ребё, весь растатуированный синими древнееврейскими заклинаниями (вместе с межстрочными пустотами эти надписи удивительно походили на тельняшку, обтягивающую его потный торс).

Но мне так и не удалось толком пообщаться с беднягой, потому что он все время метался по трюму с миской жидкой глины в одной руке и печатью в другой: такое количество гребцов требовало постоянного ухода.

В трюме было мрачно; наверху, конечно, галера выглядела получше. Но големы в трюме потребляли куда больше благодати, чем простой мотор с винтом – это отдавало расточительством и позволяло плавать лишь вдоль берега, где стояли мощные ветряки.

Даже потратив много дней на плавание, я так и не нашел радости в том, что сижу в шикарно обставленной гостиной, со всех сторон окруженной водой. Дорогостоящие предметы современного искусства и общество загорелых неискренних людей не добавляли происходящему очков.

То же касалось и другого статусного символа – личного монгольфьера: в этом случае гостиная была поменьше, предметы искусства фильтровались по размеру, зато все вместе могло подолгу зависать в небе.

Вообще, было что-то экзистенциально жуткое в том, что эти многометрово-многотонные плавательные и летательные средства не могли придать осеяемой ими жизни даже символического смысла – ибо не обладали им сами: они служили просто делу переплыва или перелета из пункта «А» в пункт «Б».

Необходимость такого перемещения владельцу монгольфьера или яхты следовало обосновать самому – и с этим, я подозревал, были серьезные проблемы не у меня одного, ибо если у вас есть своя яхта в двести големов, у вас совершенно точно нет никакой нужды куда-то на ней плыть.

Корабельным и воздухоплавательным агитаторам оставалось лишь повторять слова древнего пифагорейца о том, что движение важнее цели (я видел эту цитату как минимум в двух глянцевах брошюрах с якорем на обложке).

Я исследовал и другие доступные высокопоставленному человеку излишества – но в них тоже не было ни радости, ни смысла. Они, возможно, возникали в процессе длительного и тесного (пусть даже заочного) общения с группой людей, разделяющих те же подходы к жизни.



Надо было постепенно ввинтиться в их круг, впустить их мнения в свою душу, вступить в подковерную борьбу. Тогда, действительно, лишние десять метров палубы или три метра аэрокабины наполнялись живым эмоциональным смыслом.

Но что-то отвращало меня от удовольствий, семена которых следовало подсаживать в свою голову подобно тому, как эпидемиолог прививает себе дурную болезнь. Выходило то же самое, что с наркотиками – только здесь за временное умопомешательство приходилось платить не физическим здоровьем, а душевным.

Я не был счастлив – и начинал всерьез тосковать по своему монастырскому детству.

Вселенная любого монаха-медитатора была куда обширней: в ней существовали бесконечные равнины покоя, пространства сладкого забвения, миры неподвижного восторга... На другом полюсе опыта, рассказывал мой наставник, искателя встречало быстрое мерцание сознания, создающее мир: можно было уйти туда и смотреть не отрываясь, как Вселенная исчезает и возникает много раз в секунду. А дальше, говорил он, не оставалось уже ни пространства, ни времени – но в них не было и нужды.

Я не понимал этих слов до конца. Но, глядя с причала Красного Дома на разноцветные монгольфьеры и яхты, я горько жалел, что мои детские тренировки в концентрации прекратились в двенадцать лет, когда меня произвели в шивы Желтого Флага – и отрезали полосатым государственным шлагбаумом от блаженного пространства абсорбций.

Я поделился своими переживаниями с Галилео.

– Ты хочешь сказать, – ответил он, подкручивая бороду (когда он это делал, мне казалось, будто он заводит себя спрятанным в ней ключом), что мир более не в силах тебя обмануть. Ты не первый, кто делает такое заявление. Этой теме посвящено чудовищное количество плохих монастырских стихов. Однако не стоит этим гордиться, Алекс. Не слишком-то верь монахам, особенно из Железной Бездны. Выживают в нашем мире как раз те, кто позволяет ему себя обмануть. Хочешь пример?

Я кивнул.

– Пятьсот архатов с первого буддийского собора постигли все-все. Мир больше не способен был обмануть лучших учеников Будды даже во сне. Но они не имели детей. В отличие от индусских браминов, которые хоть и не могли состязаться с архатами в понимании истины, но зато плодились как кролики. Отсюда, Алекс, и упадок буддизма в средневековой Индии. Постоянная деградация человеческого мира неизбежна, ибо лучшие рождающиеся в нем существа мечтают лишь об одном – покинуть его безвозвратно. Игрок, понявший, что заведение жульничает всегда, встает из-за стола. Рано или поздно в человеческом мире остаются только тупо заблуждающиеся особи, подверженные самому убогому гипнозу. И не просто подверженные, а с радостью готовые передавать гипноз дальше, превращаясь в его... как это говорят монахи из Железной Бездны, хот-споты.

Я не понял, что это за «горячие пятна», но не стал спрашивать.

– Не гордись тем, что ты не похож на других, – продолжал Галилео. – Ты – искусственно созданное существо и воспитан совершенно особым образом, для особой миссии. Таких, как ты, мало. И нужны они для того, чтобы поддерживать тот самый порядок вещей, который ты презираешь.

– Каким образом? – спросил я.

– Придет время – узнаешь, – усмехнулся Галилео. – Пока же твоя главная задача – радоваться жизни. Если угодно, это твой долг. Надеюсь, ты хочешь быть счастливым?

Я кивнул.

– Тогда я дам тебе совет. Не ищи счастья, опирающегося на построения ума, ибо наши мысли зыбки. «Счастье» – просто химическая награда амебе за то, что она делится. Иди к награде напрямик. Соответствуй природе своего тела. У тебя есть девушка?

– Постоянная? – смутился я. – Нет. Так, иногда...

– Почему бы тебе не подумать на эту тему? Не спеши списывать мир иллюзий в утиль.

Легко догадаться, что слова Галилео, старавшегося привить мне немного здорового цинизма, были поняты мной с точностью до наоборот. Я устремился к тому самому, против чего он меня предостерегал.

Я стал искать Женщину с большой буквы. Не просто юную и красивую, но вдобавок умную и возвышенную. То есть идеальную.

Дело тут было не только в романтизме, монастырском воспитании и житейской наивности. В ходе моих мыслей присутствовала логика. Если разобраться, разве не таких женщин воспевают все – или почти все – выливаемая на нас искусством мелодраматическая жижа?

А если нигде во вселенной подобных женщин нет, зачем человеческая культура веками пропагандирует их с такой яростной настойчивостью?

Я так проникся этими мыслями, что принял анонимное участие в конкурсе сочинений на приз Оккама, ежегодно проводящемся под патронажем Желтого Флага («сто тысяч глюков тому, кто найдет в этом мире хоть одну реальную сущность»). Я уединился на яхте и, пока големы со своим татуированным владыкой гоняли ее вдоль берега, исписал целых сто страниц рассуждениями о том, что такой сущностью является Любовь.

Мне казалось, мысли мои убедительны, доводы неопровержимы, а стиль безупречен. Но моя работа не дошла даже до стадии публичных дебатов, где разоблачают особенно настойчивых идиотов: я получил утешительный приз в один глюк и отписку рецензента, где было сказано, что любовь не может быть подлинной сущностью, так как не обладает существованием независимо от порождающего ее сознания, а все феномены сознания... и так далее, с ожидаемыми цитатами из классиков.

Упоминалась даже какая-то вторая бритва Оккама, «не способная», как было сказано, «прийти автору на помощь, несмотря на остроумное умолчание о ней – и все кажущееся сходство повесток».

Бюрократам, конечно, виднее.

Вскоре после этого мне попала под руку книжка маркиза де Ломонозо «Математика и любовь» (подозреваю, что ее подобрал Галилео). Это было скорее художественное сочинение, чем научный трактат. Маркиз столкнулся с той же проблемой – он искал совершенную спутницу.

Он пришел к выводу, что в строгом смысле проблема не имеет решения – но бывают, как он выразился, «страстные сближенья». Его склонность к математике подсказала ему оригинальный подход к вопросу.

Он разложил идеальную женщину в ряд Фурье (так звали старинного математика, славившегося большим числом любовниц – как уверяет исторический анекдот, они даже стояли в очереди к его дверям, откуда и возникло это выражение).

В результате у маркиза де Ломонозо появилось три подруги.

Одна – невероятная умница, проницательная, злая и острая на язык, прекрасный собеседник – но некрасивая.

Вторая была очень добра. Она писала замечательные письма – короткие, смешные и трогательные, любое из которых согревало душу. Она тоже была некрасива и вдобавок не особо умна.

А третья девушка, работавшая в кухне его загородного дома, была бесконечно прекрасным юным существом. Она не только не умела писать – она по сути не могла даже говорить, потому что изъяснялась на южном диалекте, и ее кое-как понимали одни лишь големы да служанки. Тут об уме и доброте говорить не приходилось вообще – в таком же объеме они свойственны, наверно, ящерице или стрекозе. Но она была безумно хороша и свежа.

Де Ломонозо обустроил свою жизнь следующим образом: ежедневно пил чай с первой из девушек, в минуты одиночества перекидывался записками со второй, а по ночам обнимал третью.

Но в своем воображении он сплавлял их в одно-единственное совершенное существо, обладавшее умом первой, отзывчивостью второй и красотой третьей. Разговаривая с первой, он шурился и представлял себе на ее месте третью, а обнимая ночью третью, вспоминал трогательное письмо, полученное вечером

от второй, и так далее.

Вот несколько запомнившихся мне цитат из де Ломонозо:

«Легкое усилие воображения, которого требует метод Фурье, окупается тем, что становишься любовником практически совершенного существа. Может быть, такие женщины и есть где-то на самом деле, но их цена безмерна – и расплачиваться за такую любовь придется всей жизнью. Причем плату нужно будет внести авансом, без всяких гарантий. Любовь по Фурье дает практически тот же результат, но без серьезных рисков и с гигантской скидкой...

«Тому, кто сомневается в моих выкладках, предлагаю внимательно рассмотреть последовательность событий, из которых состоит “любовь”. В минуты страсти мы не беседуем с нашими любимыми на умные темы – мы их просто любим, и место слов занимают страстные вздохи. Когда мы ведем с ними серьезный тяжелый разговор, мы уже не воспринимаем их как объект желания. А если нам нужно чуть-чуть человеческого тепла, мы тянемся к нему – и забываем на время и умствования, и страсти. Мы употребляем все эти элементы по очереди, и никогда – одновременно. Любовь по Фурье просто синтезирует тот же конечный опыт из отдельно доставляемых на дом ингредиентов...

«Разница как между оригиналом картины и очень похожей подделкой, сказал мне один из друзей, чьим мнением я дорожу. Я ответил так – если это и подделка, то она висит на стене в том же самом месте и выглядит так же. То есть оказывает на органы чувств то же в точности действие. Признать это мешает лишь эго, желающее непременно “обладать оригиналом”. Хочешь быть счастливым, тщеславным человеком, – усмири гордыню...»

Логика де Ломонозо подкупала своим научным подходом. Но я не желал обнимать ряд Фурье. Я не хотел, как сказал бы Галилео, простого животного счастья. Мне было абсолютно необходимо умножить его на построения восторженного и нетрезвого ума.

Я хотел Любви – оцененной моим собственным орденом в один символический глюк.

Люди уже столько веков сравнивают любовь с болезнью, что желающий высказаться на эту тему вряд ли сообщит человечеству радикально новое. Можно лишь бесконечно уточнять диагноз.

Я бы сделал это так: любовь маскируется под нечто другое, пока ее корни не достигнут дна души и недуг не станет неизлечимым. До этого момента мы сохраняем легкомыслие – нам кажется, мы всего-то навсегда встретили забавное существо, и оно развлекает нас, погружая на время в веселую беззаботность.

Только потом, когда выясняется, что никто другой в целом мире не способен вызвать в нас эту простейшую химическую реакцию, мы понимаем, в какую западню попали.

С Юкой случилось именно это. Сперва я полагал, будто испытываю к ней снисходительное любопытство – эдакий насмешливый интерес сурового всадника к котенку, забравшемуся на колени в придорожном трактире. Но вскоре выяснилось, что всадник уже не особо помнит, по каким делам он куда-то ехал – а делает ежедневные петли вокруг трактира, раз за разом заказывая обед, чтобы лишний раз подержать котенка на коленях.

Но винить меня в этом было глупо – в такую западню попал бы на моем месте любой. Юка была фрейлиной «Зеленые Рукава» – или, как говорят в светских кругах, «зеленкой». Красота этих существ совершенна настолько, что из приманки превращается в оружие страшной силы.

Про «зеленок» почти никому не известно, и они тщательно поддерживают вокруг себя ореол тайны – к тому же их очень мало, и не всякий поседевший в салонах светский лев может похвастаться, что хоть раз видел одну из них своими глазами. Их выращивают в специальном заведении, как ассасинов или янычар – но обучают не убивать, а, наоборот, возвращать интерес к жизни.

Главное в их искусстве – не интимные услуги (их способны оказывать и куда менее утонченные существа), а самая настоящая любовь, которую они способны пробудить даже в черством и разочарованном сердце.

Любовь, помимо всего прочего, – великий катализатор служебного рвения, особенно с учетом того, что доступ к «зеленкам» обычно теряют вместе с высокой должностью. А за глюки эту привилегию купить нельзя (говорят, впрочем, иногда можно купить должность).

«Зеленок» воспитывают точно так же, как девушек из благородных домов – только результат бывает не в пример лучше: дисциплина в их школе военная, и никаких послаблений им не дают. И они, конечно, куда красивее светских львиц, большинство из которых рождается от обычного для высших кругов брака глюков и звонкого имени. Поэтому дамы любят шептаться о том, что в красоте «зеленок» заключен какой-то темный inferнальный секрет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/viktor-pelevin/smotritel-tom-1-orden-zhelтого-flaga/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

Приписывается Никколо Первому. По другой версии, написано Павлом Алхимиком – и изменено Никколо Первым под влиянием декадентов: в утерянном павловском оригинале якобы было “влача свой крест Мальтийский в темноте, // где Троица сию рисует душу, // подобно быстрым вилам на воде”. В пользу этой гипотезы говорит то, что в Ветхой России времен Павла действительно распространены были вилы с тремя зубцами. Против этой версии – некоторая амбивалентность термина «Троица» в устах Павла Алхимика.

2

Герцог де Антипод (фр.).

----

Купить: [https://tellnovel.com/viktor-pelevin/smotritel-kniga\\_1-orden-zheltogo-flaga-kupit](https://tellnovel.com/viktor-pelevin/smotritel-kniga_1-orden-zheltogo-flaga-kupit)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)